

СЕРГЕЙ НЕБОЛЬСИН

## ЧАЙКА И БУРЕВЕСТНИК

*Заметки около памятных дат*

Кончился год Льва Толстого – сто лет уходу классика. Истек год Чехова – длительное и многосоставное событие.

Я пишу это в феврале 2011-го. И телевидение сообщает, что как раз сейчас московский театр “Современник” еще только везёт в Лондон “Чайку” и “Вишневый сад”. В начале, что немаловажно, “Крутой маршрут”, по воспоминаниям матери Василия Аксёнова, но чеховское прикрытие логично? Мол, и тут, и здесь – равноценно высокое. Хотя не знаю, в чеховском ли ключе и Чехов поставлен. Возможно такое: Чехов – в манере “Затоваренной бочкотары” Василия Аксёнова, сына Гинзбург; а её “Крутой маршрут” можно давать как нечто подобное “Палате № 6” – вечная, мол, вина России.

В любом случае, за чеховской собственно юбилейной датой целые полтора века: 1860–2010. Многие иные разметки, даже до столетия не дотянувшие, мельчают и блекнут.

Кому-то неловко даже покажется вспоминать, что вот-вот будет сто десять лет “Песне о буреветнике”. А для нас Чехов как раз буреветников и объясняет.

\* \* \*

Правда, нынче же 190 лет со дня рождения Некрасова, Чернышевского, Достоевского. 200 лет Царскосельскому лицу. 75 лет назад родился Николай Рубцов. **“Отчизна и воля – останься, моё божество!.. Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!.. Россия, Русь! Храни себя, храни!”** Невольно сразу же теснятся в душе его возгласы. И горько осознать, как всё вышло запоздало: мы только-только начали Рубцова слушать, а он уже от нас ушел – когда его так мало кто знал... Этому 30 лет. Даты памятные, а память овеяна грустью.

Возьмем себя в руки. 1936 год (а прошло тоже 75 лет) – это еще и дата кончины Горького. Снова довод в пользу буреветников. Произнось “буреветник”, мы ведь и думаем прямо о самом писателе. И в отзвуках горьковских песен мы росли почти век. Одних к этому вынудили, другие охотно их слушали; кто-то даже навязывал и вынуждал; кто-то всей правды о Горьком боялся. Кто-то, наконец, вымышлял и запускал в оборот мифы.

Спросим у интеллигентного скептика: а вас всё это никак не касается? Не увильвайте, если касается. (Опираюсь на более чем вековую репутацию русского интеллигента: ему уж что-что, а склонность увильвать не свойственна.)

Уж вы-то – говорю всё с тем же собеседником – не только слышали “Песню о буреви́стнике”, вы жили её созвучиями. Признаем же тогда её право на какой-никакой, а юбилей.

Мы начали с изобилия и чересполосицы множества чисел. 150, 190, 200, 75... Может быть, в эквилибристике цифр и чисел есть какая-то хлебниковщина: любил “великий”, подсчитывая, показать пальцем в небо. А всё же иной раз сам подумаешь: за числами впрямь не кроется ли что-то по крайней мере странное? Скажем, вот что. Чисто астрономически если, то сто с лишним лет после Чехова и после начинаний Горького переместили нас, казалось бы, вперед. А куда мы двигались на самом-то деле, и особенно куда пришли эпохально? То есть если судить по кричаще важному и даже грозному существу того, что сложилось на сегодня?

\* \* \*

Нас сопровождали чеховские “тени и полутени” (о них много и сейчас пишут, хотя в чеховских “постановках” всё больше реквизитов). Нашу жизнь затрагивали вспышки и помрачения. Да что Чехов и Горький; на наших судьбах отражалось еще многое. Вот Евгений Листницкий и Григорий Мелехов. Один ведет под руку изящную городскую даму и воркует ей, что “видит берег очарованный и очарованную даль”; а другому над бездыханным телом Аксиньи является жуткий “мрак в полдень”. Как ни жестоко такое говорить, а обманутый этой дамой Листницкий все же хоть догадался застрелиться; но сколько проклятье судьбы еще будет висеть над Григорием? Он вернулся ведь к своему хутору не наложить на себя руки: там дом, там Мишатка. А Мишатка до нашего времени дожил? Хотя бы до 1941 года?

И вот всё это касается нас, даже в двадцать первом столетии, куда бы ни двигались дела. Мы остаемся под негласным (если его не чувствуем) – остаемся под негласным надзором давно сказавших своё слово писателей.

Так что же, действительно: или присмотр великих был недостаточно выскателен – или мы сами, впопыхах, к классике не присматривались?

Классика – это, конечно, не какой-то распорядительный, контрольный или правоохранительный механизм. Можно считать, что она неусыпна, что она всюду проникает; но скажите “механизм”, как вы говорите “текст” или “метатекст” – и вы классике уже чужды. О, в классике есть и своя секретность; её секрета и при всей механической учености не постичь. А ведь надо постигать, хотя бы наощупь и наугад; надо же хотя бы догадываться, за чем именно классика компетентно наблюдает. И что она одобрила бы, а что нет.

Мы затронули дела учености, и об учености еще когда были сказаны трезвые слова: **избавь, ученостью меня не обморочишь**. Пускай так оборвал Чацкого Скалозуб, он был несколько неотесанный. Но и разве не хлётко, разве не правильно?

Назвал бы я поименно ряд обществоведов, наводящих на умы морок как раз своей сугубой ученостью; у них еще в ходу слова “парадигма” и “проект”. Но лучше сделать другое: признаться, что учености недостает и нам, многогрешным. И надо указать, в чем и подлинная литература и подлинная ученость все-таки сходятся: это ясность и осторожность. (В хлебниковщине их нет, она всё время хочет буйно учинить кому-то вселенскую смазь, тузит и кроет наотмашь; какая-то нечёсаная еще и буслаевщина.) Уважать ясность и осторожность и самому при этом учиться – нужно; и никого по ходу дела не поучая.

Величественно поучали лишь совсем немногие из писателей прожитого нами времени; иногда это делалось везде, а может быть, и всегда. Народ же не любит поучений.

\* \* \*

“Чеховские тени и полутени”; нечеховское учительство и поучительство. Вспоминается еще и важный Чехову свет; возьмем хоть один образец.

Проезжая по Сибири на Сахалин (это было в мае 1890 года), Чехов ненадолго остановился в доме у своего же ямщика. Об этом писатель оставил небольшую зарисовку.

*Мы в светлой комнате с деревянными полами. “Там кипит работа. Хозяйка, женщина лет 25, высокая, худощавая, с добрым, кротким лицом, месит на столе тесто; утреннее солнце бьёт ей в глаза, в грудь, в руки, и кажется, что она замешивает тесто с солнечным светом”.*

Как его замесили, таков будет и хлеб. Но Чехов подсказывает что-то большее. И мало остаться при том, что нарисована артистичная картина скромного и даже “кроткого” труда, что это художественность как мастерство. За год до того один чеховский герой замечал, что отнюдь не все ожидаемое предлагает нам даже артистичная литература. В ней бывает так: **“умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не умно, или, наконец – талантливо, умно, но неблагородно”**.

В “Скучной истории” (1889 года) мы слышим это от грустного, удрученного болезнями и возрастом профессора медицины. Чехов говорит вроде не от себя, скромно стоя за спиной персонажа. Вроде бы, но писателю еще нет тридцати лет; а как много у искусства необходимых, неизменных измерений уже уяснено: Чехов ведь, а не кто иной, придумал такого героя! Это есть и в очерке “Из Сибири”; попробуем вдуматься.

**Художественность. Луч света.** Чеховский луч не посягает сразиться ни с каким темным царством, но несет нам что-то очень полезное.

Мир – не темное царство. Такова она и есть, художественность. Это не только зоркость или наблюдательность, это не просто меткие слова, а в них – удачные находки развитого воображения. Художественность – это необходимая соразмерная полнота и даже всеполнота объема при представлении жизни. Такое доступно только художественному. Такое недоступно иным видам знания. (И вовсе не от давления разных распорядительно-правоохранительных сил или режимов литература у нас в России оказалась выше других знаний – скажем, философии или социологии-политологии. Их, мол, всяческие силы и режимы якобы теснили и преследовали и не давали развиваться и развернуться, что доступно только при демократии. Лишь туманно-художественное, ни к чему не обязывающее еще как-то допускалось, а скажи прямое “дважды два четыре” о том, каково общество на самом деле и каковы его задачи – это сразу под запрет.)

Нет, тумана в искусстве меньше, а ясности больше. Например, Лев Толстой именно поэтому, а не по чему иному, как художник-мыслитель выше сугубо ученого мыслителя Владимира Соловьева; ум художества выше, чем ум кафедрально-декламаторского ума. Как художник-мыслитель, Толстой уже типом такого мышления выше Сергея Франка или Бердяева; Иван Солоневич в “Народной монархии” употреблял хлесткое обозначение – **“бердяй-булгаковичи”**. Если от такого обобщения перейти к персонификации, то наилучший вариант – Бердяй Булгакович Франк. Но продолжим: как художник-мыслитель, Толстой выше и самого себя как философа или вероучителя-антидогматика. Причем последнее качество у него оказалось доходящим до крайнего как раз догматизма.

\* \* \*

И вот чеховская картина, чеховский проникнутый светом житейский эпизод. Он художествен именно в смысле своей объёмности. Здесь и благородство, и талант, и ум. Картина и земная, и космичная; она умна всеобъемлюще-художественно, в ней немногословно передано столь многое. Хлеб как основа всего; в нём связь корня и зерна; некичливое, при кротости и радости одновременно, созиданье главного своими руками; благодатный для всего этого высокий луч сверху.

Именно таков, без всяких темных царств, человеческий “космос”, если выразимся несколько учёно. И ему соразмерен и родствен художественный мир писателя. Даже сама его жизнь: ненапыщенно-кроткий повседневный труд, уравновешенность, просветленность.

Повторим: есть чужающееся учительства немногословие, а в нём – глубочайший подтекст (не мы его у Чехова открыли). Мы только сразу же добавили бы, что образ красиво изготовляемого добротного хлеба наверняка запомнился начинавшему тогда Горькому, он Чехова внимательно читал. Но мы и позже этого еще успеем коснуться.

\* \* \*

Уравновешенностью в эпоху катастроф (к исходу XIX века у нас такое уже началось) Чехов наделён как никто. Он всецело принадлежит миру отовсюду подающих голос тружеников. И он воспринимает этот мир – его жизнь – как с заботой-сочувствием, так и с мужественным спокойствием и самообладанием.

Мир несправедлив? Сразу вспоминается чья-то мысль-формула: что **порядок выше справедливости**. Возможно, это Конфуций – хотя бы по настрою. Не зная наверняка источника, а тем более без способности и права толковать конфуцианство, останемся при Чехове и его эпохе. Как бы там ни было, Чехов в своё время (время позднего и мятежного Толстого, горьковско-го бунтарства, модернистской лихорадочности) предъявил нам особое искусство. Своим, мы сказали, самообладанием и стройным порядком оно – нет, не пособничает несправедливости. Оно не потворствует и не подыгрывает катастрофам, которые словно рады своему размаху и разгулу, в ходе чего кто-то намерен с несправедливостью обязательно покончить.

\* \* \*

Однако возможно ведь допущение, что “если буйство и опасно, то порою всё-таки порядок и умиротворенность всяческим несправедливостям попустительствуют?” Многие, кто так полагал и кто Чехова знал, были им разочарованы. Толстой, назвав Чехова Пушкиным в прозе, представлял его – и именно так видел и Пушкина тоже – досадно лишенным склонностей и страстей религиозно-нравоучительного проповедника. А вот Максим Горький, далеко не Толстой: ему Чехов тоже был бы ближе, стань он опять чем-то на себя непохожим – пропагандистом неперемнной социальной революции. Самому Чехову высказать такое резко – этого Горький, возможно, остерегался; но о Бунине подобное писал (правда, учительски полагая его младшим). “Не понимаю, **как** талант свой, красивый **как** матовое серебро, он не отточит **как** нож и не ткнёт **куда** надо”, – гласит письмо Горького к Брюсову от 5 февраля 1901 года.

Мы нарочно выделили троекратное “как” на одну фразу, да плюс еще “куда”. Это не ритм и не какие-нибудь аллитерации-ассонансы поэзии в прозе. Это просто свидетельство, что вопрос для Горького “волнительный”, и голове от этого мильон терзаний, некогда собраться. В тот же самый, однако, 1901 год появляется, мы уже напоминали, “Песня о буревестнике”. И как не заметить, что

*Над седой равниной моря  
Ветер тучи собирает —*

нечто очень похожее на бунинскую “Песнь о Гайавате”. Не там ли, в самом начале,

*На побережье Читчи-Гюми, светлых вод Большого Моря?*

Не будем вдаваться, что Бунин, в свою очередь, воссоздавал “Гайавату” склад и напев финской “Калевалы”. Углубимся же сейчас в другое. Над морем реет у Горького возбудитель мятежа, и уж он-то знает, “куда надо ткнуть”. А Бунин и в “Гайавате”, при всём серебре своего дара и при всей напевности размера, “куда ткнуть”, не знал. Буревестник же словно и действительно не оснащён ли ножиком? Это знание и оснащение для него опять “волнительны”; не случайно ведь в среде испуганных и стонающих от оторопи он словно торопится “и смеётся, и рыдает” чуть ли не одновременно. А стенает – стенает **ЧАЙКА**. Что и является весьма знаменательным.

*Чайки стонут перед бурей,  
Стонут, мечутся над морем,  
И на дно его готовы  
Спрятать ужас свой пред бурей...*

(У Горького это не разбито на строки, и мы лишь для некоторой рельефности передаём всё как стихи, хотя они, конечно, и не в самих рифмах, напо-

добие **перед бурей – пред бурей.**) И если важен здесь адресат Горького, или даже его мишень и прицел – то не стрела ли это, не “ножик” ли, запущенные в чеховский мир, в самого Чехова? Чайка ведь чисто чеховский знак.

\* \* \*

Теперь задумаемся: если камень брошен в Чехова, то оставил ли Чехов такую дерзость без ответа? Особенно если Чехов “Песню о буревестнике” и читал, и кое в чём мог разгадать её тоньше иных?

Есть свидетельства, что читал. Сообщается, что в частных беседах Чехов настаивал: буревестник, который зовёт вперед и выше или вперед без страха и сомненья – на самом деле суётся в воду, не зная броду. А так делать не надо, это пагубно. Это храбро, но это безумство\*. Однако пускай свидетельства третьих лиц недостаточны. Серебров-Тихонов (мы о нём) мог слышать что-то похожее от Чехова, а мог что-то и примыслить.

Но вот перед нами “Вишневый сад” – это после “Чайки” (1898), это и после сопоставления чаек и буревестника (1901), это 1903 год. И в русской критике уже было оглашено: **“Буревестничество – поэтизация разбойничьих ощущений <...> героев Волги”**; так замечал уже в 1902 году современник Горького и Чехова Н. Московцев\*. Что тут добавить?

Да, Волгу и бурю чуть ли не в таком же духе пел еще Некрасов. Не у Некрасова ли следующее:

*Душно. Без счастья и воли  
Ночь бесконечно длинна.  
Буря бы грянула, что ли?  
Чаша с краями полна...*

Брошенное здесь лихое и бесшабашное **“что ли”** – нечто очень и очень наше, общерусское. Разве что именно на случай революций это едва ли годится. То есть “будь что будет, а попробовать не грех”. Поэтому только и вывод:

*Грянь! Над пучиною моря,  
В поле, в лесу засвищи...*

Но Некрасов Некрасовым, а буревестничество как порыв откуда-то с разбойной Волги – это было угадано точно.

И вот Чехов. Он или успел прочесть у других, что буревестник прилетел на моря с Волги, или своё собственное знание об этом использовал удачно. **Выдь на Волгу!** – не без слёз и навзрыд, но чуть ли не угрожая, взывает “на Некрасова” попрошайка в “Вишнёвом саде”. Под эту, если позволительно так высказаться, мелодию он и обирает встречаемых – а именно растерявшуюся “дворянскую интеллигенцию”. Ибо он ведь не столько просит – он прямо требует милостыню. И она дана: дана из пугливого сочувствия к неимущему и вольнолюбиво-страшному. Впрочем, из сочувствия или же прямо из страха?

Неясно. Но кто распознал, что здесь не только цитируется Некрасов, и что подразумевается не только он, тот едва ли ошибся.

И пускай всё в описанной сцене из “Вишневого сада” остаётся лёгким намёком; ибо попробуйте не предположить, а доказать, что “Выдь на Волгу!” – это как раз и есть буревестник. А все же ход весьма и весьма понятный.

Как Горький задеть Чехова прямо и в лоб остерегался, так и Чехов, уже из соображений исключительной деликатности, никакой прямой “отповеди Горькому” никогда бы себе не позволил. Остался лишь намёк; но, думается, он не менее ловок, чем любой “твёрдый отпор”.

Чайки, они стонут. Ещё бы; ведь вы их едва ли при случае пожалеете. И вы, батенька-волгарь (Чехов, вспоминают, любил слово “батенька”), – вы,

\* Очерки “Из Сибири” (1890, очерк III): Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Сочинения. Том XVI–XV. М., 1987. С. 17.

\* Московцев Н. “Мальчик без штанов”, ныне Буревестник // “Заря”, М., 1902. Вып. 1, с. 162.

батенька, рыдая и буйствуя, этим подыгрываете чему-то совсем не благородному. Вы подыгрываете, и оно все более и более входит в раж. Оно хищное, безжалостное и... простите, но убогое. А еще "всё в человеке, всё для человека..."; или как там у вас: "правда — бог свободного человека"? Читал в вашем "На дне". Что ваше буревестничество, что "сарынь на кичку" у ушкуйников.

Могут спросить, а так ли думаю я, несколько вольно присочинив предыдущий абзац. Пока думают и спорят классики, может быть, и достаточно только наблюдать за этим и вслушиваться.

\* \* \*

Впрочем, было в те же годы и не горьковское предчувствие всё той же бури. Оно овладевало и людьми как раз из мира чаек, из мира изнеженности и наивности, неприспособленности к труду. Оно проникло чуть ли не в мир "дачников", сильно неприятных Горькому. А Чехову оно чуждым не являлось, Чехов его сам внушил одному своему герою, сам вложил отголоски того же в уста многим.

Звучит это примерно так. **Мы живем расслабленно и бездеятельно; я и сам нигде и никогда не работал. И мы словно не замечаем: на нас ведь надвигается великая, мощная и очистительная буря. Эта буря уже близка. Она настигнет всех нас. Она сдует с нас апатию, лень белоручек.** Так рассуждает в "Трёх сестрах" юный офицер немец Тузенбах. **Только надо работать; готовиться к работе; работать, как это ни было бы прозаично — необходимость.**

И только когда-то потом мы отдохнём. Так думают и персонажи "Дяди Вани", и герои "Вишневого сада". Сад — не только неустроенная и чахущая личная усадьба, но и вполне возможное средоточие совокупного, общего, общероссийского труда.

Может быть, как раз здесь есть тонкое, но важное расхождение с Горьким: а главное, не вдавайся в понукание или распугивание людей пропагандой; а главное, поди-ка послужи. Герой высказался, Чехов продолжает размышлять — хотя и не мешкая, но и без заполошности и горячки.

Тузенбаху потом не повезло: его сбила на взлете пуля скандалиста-однополчанина. Однако что слова Чехова были не просто лепетом неприкаянного, ни к чему не годного и заурядного лица — этому осталось подтверждение. Обратимся к Александру Блоку. Он едва ли так уж "зауряден". Я тоже из немец — мог бы, кстати, заметить он о себе. (А фамилия чеховского героя даже трижды немецкая: Тузенбах-Кроне-Альтшауер.) Я тоже воспитан в неге и беззаботности: "Я в тихом парке дедов рос..."; я приучен к этому, и я тоже никогда не работал, пока жил на средства деда-профессора, отца-профессора. Но негу ли поют блоковские "Ямбы"?

Оглянемся на Тузенбаха ещё раз. Его немецкое происхождение не важно — ибо и у Блока его немецкость, по ряду свидетельств, была условной, да мы и не шовинисты. Там, в стихах 1911 года сказано даже с гордостью:

*Да, так диктует вдохновенье:  
Моя свободная мечта  
Всё льнёт туда, где униженье,  
Где грязь, и мрак, и нищета.  
Туда, туда, смиренней, ниже...*

Мечта **льнёт**... это ещё, конечно, не чеховские слова. Если бы мы хотели это скрыть, мы бы их просто отсекли. Но важна возможность заметить: что Чехов именно льнул к жизненной грязи — такого и подумать нельзя. В тёмные недра он проникать умел; вносил и туда свет, пытался давать свету дорогу. Таков ли Блок здесь, как Чехов? Нет.

Но то, как он продолжает стихотворение, тоже важно. **Ты видел ли детей в Париже?** — спрашивает Блок собеседника. Это уже в чеховском духе; хотя, собственно, зачем далёкая Европа, зачем и заморский Сахалин... **Ты видел ли нищих на мосту зимой?** Если нет, если не обращал на это внимания хотя бы в Питере, тогда хоть сейчас **на непроглядный ужас жизни**

**открой скорей, открой глаза!** Непроглядный – снова не вполне по Чехову. Но вот дальнейшие слова:

*Пока великая гроза  
Все не смела в твоей отчизне,  
Дай гневу правому созреть,  
Приготовляй к работе руки...*

Чем слова не чеховские, только выстроенные на этот раз стихами? Блок пошёл тузенбаховским путём даже дальше своего рано убиенного предшественника. Вспомним послеоктябрьскую бурю (**ветер... на всём божьем свете**); потом холода́ и голода́ нескольких лет, с недугами и тяжкой повседневной работой. После экзальтации “Двенадцати” (“Черный вечер. Белый снег”, и так до самого конца поэмы, с его “снежной россыпью жемчужной”) пришёл и могильный “черный день”; на этот раз – совсем как у Некрасова:

*Черный день! Как нищий просит хлеба,  
Смерти, смерти я прошу у неба...*

Настала и тяжкая кончина; она, конечно, бросает на последние дни Блока тень мрачную. Не будь такого “чёрного дня”, едва ли спорили бы столько, как ныне. А спорят: ибо не наобум ли, не пальцем ли в небо попал поэт со своим нежно-жемчужным финалом “Двенадцати”, где революция чуть ли не живительна, так как

*впереди — Иисус Христос.*

А по сути-то, все смертны, и не обязательно смерть до предела символична. Хотя представим себе – что было бы на устах у борзописцев, и даже сегодня, скончайся лишь кто-то незаурядный и видный как раз 25 октября 1917 года? Гибели Тузенбаха не заметили бы. А скончался Блок – отнесли бы его к прямым и знаменательнейшим жертвам большевизма. Помните ли бродяг, попавших под бронетранспортёр в августе 1991 года?

Случись это с Блоком, его поэмы “Двенадцать” совсем не было бы, как и “чёрного дня” 1921 года, с муками поэта от упомянутых ещё скорбящим Некрасовым “цензоров”. Но и тогда бы мы вспоминали, что ровно 100 лет назад, в 1911 году, было сказано про великую грозу и про подготовку рук к работе.

Случившееся у Блока после этого – тоже знаменательно, но знаменательно не только травлею со стороны всяческих согладатаев и распорядителей. Как Чехов когда-то, то есть ещё с юности, **по капле выдавливал из себя раба** (письмо к Суворину 7 января 1889 года), так, хотя и по-своему, произошло и в судьбе поэта-символиста. Былой Тузенбах в 1918–1921 годах, отдавшись тяжелому ежедневному труду, весь оставленный ему срок **выдавливал из себя дачника и господина**. Это тоже значимо!

Это достало и части “чеховской” интеллигенции, которую буря (или что бы там ни было) застала и оставила в пределах России. Да она и вне России, если заранее не оказалось запасено дачи на Капри, впервые поняла, что работать надо, и она работала – то таксистом, то судомойкой. Вот почему, в частности, и зарубежная Россия ценит Чехова, хотя Блока едва ли до конца понимает, и нашим якобы мхатовским балаганчиком по Чехову даже рукоплещет.

Вчитаемся в то, как герой Николая Островского почти у гробовой черты обозначил своё, если так можно выразиться, кредо. Когда-то мы учили это наизусть, теперь привожу, как могу, на память.

**Жизнь дается человеку один раз. И прожить её надо так, чтобы не было мучительно-больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое.**

Чем не чеховское самосознание, даже если к этому добавлено нечто в стилистике “Песни о соколе”? А именно, **и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы отданы лучшему, что есть на земле – борьбе за освобождение человечества...**

Увидеть чеховское в Николае Островском? Впору вмешаться с окриком: **это кто там машет красным флагом?**

Не Чехов, конечно, да и не мы. Разве что Булат Шалвович Окуджава это делал: не когда призывал раздавить “коммунистическую гадину” (1993),

а когда пел комиссаров “той единственной гражданской”. И уж что Чехову едва ли было ещё свойственно, так это чопорность: моё благородство моих героев — не для вас, незаможного лапотника. А так-то чем не “благороден”, при всём отличии от молодого барина Листницкого, шолоховский Бунчук. Его, правда, сюжет романа не располагает раскрывать в себе особую деликатность и всяческую нежность, трепетность и т. п. Но узнай Чехов, что и ещё кто-то взял из его мира в мир “яростный” хоть какую-то долю чистого и лирически “старого”, едва ли он поморщился бы. Такая преемственность едва ли ущемляет что изысканного предшественника, что любого наследника “из низов”.

От интеллигенции старой такие наследники не взяли и увертливости. Что-то ранее невиданное, хотя и по-прежнему “тонкое”, есть в них — включая мозоли на ладонях или сразу уловимую “советскость” на их тогдашних фотографиях (чего коснулся Пётр Палиевский в статье “Последняя книга Михаила Булгакова”).

Как ни казённо назвать эти преобразования “неумолимой исторической логикой роста нового человека”, а факты — предъявлены. Одни выдавливают из себя раба, другие господина. И кто знает: а может, действительно, в послеоктябрьское время вышла на поверхность и обозначила себя ясней, чем раньше, такая часть русской породы, которая несводима совсем ни к чеховскому, ни к горьковскому, ни к блоковскому началу или “элементам”? Глядя из сегодня, только свидетельствуешь одно: от бури, провозглашенной и осуществленной, они не задрожали и не заметались в ужасе, не поддались панике, не возрадовались возможному помутнению вод — чего тоже, не исключено, ждал кто-то. Чувство принадлежности к “господам” никогда Чеховым не владело, труд в поте лица был знаком ему с детства едва ли меньше, чем какому-нибудь Штольцу. И не видел он в пороках человеческого предмета беспощадного и оперативного искоренения — “уничтожить немедленно, повсеместно, в зародыше и без остатка”. Увы, они казались чем-то удручительно неиссякаемым, да ещё и источником, как ни странно, людского самодовольства. И глупость, и низкопоклонство, и вульгарность, и ложь — да, они довольны собой, как обладатель какого-нибудь участка с крыжовником, и не надо ничего больше.

Когда Чехов скончался, кто-то свой крыжовник всё лелеял и лелеял; и в тот же год явился человек, который ни с Чеховым, ни с его домовито-убогим персонажем ничего общего иметь вроде бы даже и не думал.

Об этом едва ли думает и литературная критика. Всё в Павле Корчагине у Николая Островского — запальчивый и бесстрашный, порою неумный и безрассудный напор, раж завоевателя. И всё — упоённая и искренняя, как это только может быть, **пропаганда и агитация**. Боевитый до неумности юноша с шашкой и маузером, с гармошкой и киркой в руках — у Корчагина едва ли какой из этих признаков и качеств можно произвести из чеховского мира. Вспомним, кстати, что в самом начале своего пути, по крайней мере в самом начале романа “Как закалялась сталь”, Павка замешивает в тесто школьному вероучителю не солнечные лучи, а нахальную махорку. Но вспомним и ещё кое-что.

Напоминаем то, что некая эпоха (а каждой эпохе своё) из нашей памяти вытеснила и вытолкнула. Мы учили литературу по неким образцам художественного чистописания? Они уже заново отцензурированы и отредактированы, и Павка исключен из школы вторично.

А ведь, например, отличался же Павка трепетной боязливостью первой своей отроческой любви? **Рука пугливо вздрагивает**, писал об этом Островский, **едва коснётся локтя подруги**. А в конце романа — гнев уже безнадежно больного героя: его сосед по санаторию, некий развязный эстонец, упоённо рассказывает товарищам скабрёзные анекдоты. И Павел затыкает рот наглому прибалту... Нет, строго-целомудренная чистота — это не только какая-то “маргиналия” в натуре Павла. Как он поступил, когда ему забрезжило “личное счастье”? Викинг революции едва ли должен стесняться себя “какими-то там узами брака”, да особенно ещё брака чужого. Викинг, однако, поступил иначе. Он встретил ту женщину, которую когда-то любил и которая давно сочла его погибшим. Она снова двинулась ему навстречу (сама Рита Устинович, а мы о ней, не столько о целомудренной). И вот не она, а сам Павел отверг теперь союз с нею — с женщиной, уже связанной, увы, судьбою-семьёй.



\* \* \*

Вопросы из классики или, как сейчас чаще говорят, **проблемы**, подкашивают, чем высокое искусство отличается от невысокого. Подходя к этому со своей стороны, один из героев наших заметок писал своему издателю, соратнику по литературе и порою единомышленнику Суворину: **в русской классике поучительно и дорого не то, какие вопросы ею разрешены, а то, что все вопросы поставлены в ней верно**\*.

Вопросы, так сказать, настраивают на дальнейшую работу с ними – при этом не сбивая с толку.

Но мы заметили, ещё только начиная разговор: они иногда приобретают злободневность особую, приобретают её снова и совершенно неожиданно. Они застают врасплох и совершенно вразрез с хронологией и даже с теориями “устойчивого прогресса” – когда о них забыли, казалось бы, навсегда.

Присмотримся к образам из чеховского времени. Сегодня многое становится гораздо знакомее нам, чем когда это подавалось нам хрестоматиями и учебниками “о старом”.

Доктора-стяжатели вроде Ионыча, полнеющие и богатееющие. Нищие, униженные и оскорбленные сызмальства. Домашние рабы Ваньки Жуковы. Удушающие младенцев в колыбели тринадцатилетние Варьки (как в рассказе “Спать хочется”). Эскадроны распорядительных городских Очумеловых. Одинокий старик, способный поведать горе лишь бессловесной лошади: в рассказе “Тоска” было так, а сегодня страдалец – за рулём, скажем, подержанного автомобиля. Машина, она современной какого-то там сивки-бурки; но с нею по душам уж никак не поговоришь – а душа-то есть, она чего-то ждёт? Как собачку Каштанку, сегодняшнего ребенка всё более настойчиво приучают, что блестяще-шумный, бездумный и бездушный цирк – привлекательнее простого немудрящего дома. Даже горьковская – вспомним и знаменитого современника Чехова – ночлежка с её грязью и голодом, недугами и убийствами становится чем-то всё более, а не всё менее привычным – по нашему собственному и обыденному опыту.

Не хронологически, а эпохально – что значит это наваждение? Легко сказать, что давние трагедии повторяются как фарс. В чаду “перестроек”, в их расхваливании, и верно, было много фарсового. Но повторилась – именно снова – трагедия миллионов и миллионов.

Однако не приучить же нас к такому мраку навсегда хотели давние писатели? Разнясь порою до крайности, Горький с Чеховым в чем-то и смыкаются. Они часто предлагают обдумать сходное и без промедления, пусть и не единодушно.

А попутно-то как не заметить: сами Горький и Чехов сегодня почти насильно и злобно отстранены друг от друга. Как Художественный театр имени Горького – от театра имени Чехова. И хотя занавес у каждого из них сохранил, кажется, и сейчас изображение чайки, он по существу разодран. Сама чайка словно заново подстрелена шальным выстрелом в охоте за “новыми формами”. Да и выстрелы уже прямых охотничков за человеческим мясом становятся всё более обыденным и повсеместным делом. Таково и растление душ с помощью фальсификации Чехова: скажем, в якобы пьянстве, истерической крикливости и беспардонном блудодействе чеховских героев и особенно героинь. Не их ли выводят, оболганными, на иную “современную сцену”?

Повторяется то, что классике ещё давным-давно казалось антипатичным, и это было в ней верно; а чего-то она и в тяжких снах не предполагала.

\* \* \*

Притоны, озверение, мордобой и резня; бездомная бедность и стяжательство; ропот горячих и мрачных, мрачных голов, что толпами на площадях. И литература с избитыми фразами, полная духа античеловечного – как заметил, помнится, Некрасов; и администрация наша с указами о задержании каждого встречного.

\* Письмо от 27 октября 1888 г.: Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Письма. Том III. М., 1976. С. 46.

Было бы ошибкой впадать от этого исключительно в фатализм и растерянность. Ведь слова, что **“вся Россия наш сад”** – и что если **“сад продан”**, то **“мы насадим новый сад”**, – были сказаны загода на любой случай, годятся в любую эпоху. Почему не учесть этого и при диковинных и диких возвращениях прошлого?

Для рубежа двух доставшихся ему веков, девятнадцатого и двадцатого, Чехов, конечно, первопроходец. У него и до **“Вишневого сада”** предложено размышление:

**Велика матушка Россия... Всю её исходил, всюду видал не мало лиха; был и в Сибири. Состарился. А помирать не хочется. Значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия!**

Не такими ли (хоть примерно) словами старика-странника кончается чеховское **“В овраге”**? Если кто-то тогда собирался возводить новое не иначе как на захламленном и диком и потому пущенном под нивелировку и раскорчевку чернолесье или пустыре, то только не Чехов. **Сначала место расчистить, а строить – потом.** (По-базаровски рассуждающий о политике, горьковский Нил неплохой человек и не хилый, но что-то, право... бульдозерно-механическое, что ли). А Чехов спокойно и твёрдо, хотя и как-то украсно-украшенно, повторил прежнюю мысль **“хорошего было больше”** и под занавес своей жизни: в **“Вишневом саде”**, то есть когда уже совсем от нас уходил.

\* \* \*

И вот снова задумываешься, с какими же итогами мог 75 лет назад уходить в ночную тьму Максим Горький. Как часто буревестник смеялся и рыдал невпопад и вразрез со здравым смыслом, которым исполнена добрая русская традиция. Восхитительна бабушка с её сказками, которые мальчик Алёша не зря вспомнил, когда впервые прочел сказки Пушкина (об этом поведано, это подтверждено в безупречной художественности **“Детства”**); и у Горького же – плакатно-евангельский лубок **“Матери”** (впрочем, **“очень своевременно”**, как замечал Ленин, и потому спрос с качества, как получается, невелик); у Горького же, в **“Русских сказках”** лета 1917 года, наша страна, как и наша женщина, высмеяна – она, мол, дебелая нескладеха Матрена.

А так называемые **“религиозные искания”** в их целом (**“богостроительство”** и проч.). Как суетно, напыщенно и даже беспардонно, если ты сам ничего **“горнего”** толком не чувствуешь, и не являлось оно тебе, что называется, ни сном ни духом.

Хорошо и понятно сказано в **“На дне”**: **ложь – религия рабов и хозяев.** Добавлено, что **правда – бог свободного человека.** Ну, что ж: слегка образованный краснослов Сатин так думать и говорить мог. Да, ложь хозяев, со свечками стоящих ныне по храмам, и нам сегодня ли трудно распознать, мы этого уже касались. Но что если это говорит не бездомный Сатин, а сам Горький – да ещё метит он в религию вообще? Если так, то не осталось и без последствий. И безбожие сегодня, прикрываясь какими-то **“успехами естественных наук”** и даже **“марксизмом”**, вооружаясь всеми правдами и неправдами – не оно ли теснит сегодня религию из школы?

Как это и наступательно, и трусливо; как тупо, но и как злокозненно в одно и то же время. И не хочешь, а догадаешься: тут не достоинство свободы, а что-то другое. Тут

*в поле БЕС их водит, видно,  
Да кружит по сторонам...*

Каждый ли согласится, что у Достоевского именно **“Бесы”** есть верх художества? Однако как все-таки зорко, и случайно ли именно Горький с Лениным так остерегались **“Бесов”**, когда тех была готова воссоздать мхатовская сцена?

А сегодня среди адвокатов дьявольщины (к православию и они ни на выстрел, ни на шаг) есть, говорят, даже лауреаты-академики. И хоть бы решился и вышел кто в знак протеста – а подобное сделал когда-то академик Чехов ради того же Горького – из такого синклита здравых естественнонаучных художеств.

Сменяют же сегодня веру — повсеместно; и всё искания, искания. Что-то в “исканиях начала века” напоминает Евгения Александровича Евтушенку. Его мы видели воочию: искания то по прописям съездов и пленумов — комсомольстские, — а то даже и религиозные. Поэт размышлял когда-то: “а вот я на кресте, распятый, гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей” — ну не самозванство ли?

А если вера есть, то зачем тогда её душемутительный какой-то “поиск”? Зачем сбивать с толку честной народ, чья вера себя оправдала?

“Религиозные искания”. Насколько скромнее, благороднее их и насколько — ну, скажем... деликатнее был Чехов. Сама молчаливость его по части оценки догматов, по части их велеречивых обсуждений и проповедей красноречива; красноречива именно она, молчаливость.

Чехов — он, впрочем, тоже безбожник? Ну хотя бы на взгляд мятежного в вере Толстого?

Предпочтем тут умолчание и мы; не нам судить — хотя наверняка кто-то тут же встрепенется и пустится судить, судить и судить. Но именно Чехов оставил нам шедевр “Архиерей”. Он нам известен? Достаточно и этого.

По Горькому же, не тут ли как раз стоило ножичком из матового серебра “ткнуть куда надо”? (Вспомним письмо о Бунине.)

Горький едва ли любил Бунину как художаво-хладного, не без гордыни, дворянина. (Лишь если голубая кровь была в женщине, в какой-нибудь Андреевой — позднее, по Блоку, она “марксистская генеральша”, — или в какой-нибудь Будберг-Бенкендорф-Закревской, то с такими пролетарский писатель сблизился легко; тут Мария Павловна Пешкова бестрепетно отодвигается в сторону.) А стоило писателю-дворянину ткнуть ножиком крестьянина — в повести “Деревня”, — как это оказалось у Горького подержано и даже чуть ли не обласкано. С нашим сельским народом Горькому совсем не повезло. То народ от земли скопидом, хуже и ниже полуразбойника Челкаша; то революционный разбой ему же и приписан — земляному населению или происхождению России, как в послеоктябрьских заметках о русском крестьянстве...

Сколько горьковские “участия в судьбе” стоили Бунину — сперва озлобленному революцией, потом удрученному эмиграцией. После тыканья ножом куда попало как трудно было вернуться к аромату антоновских яблок и всяческих мирных любовей (хотя аллеи, усадьба, поля и цветы со шмелями — это ещё не собственно деревня и деревня не вся). За эти сложности ответствен и буревестник.

\* \* \*

Счастье — родиться в полях... Гиблое дело — судить писателей по метрическим книгам. Фамилию в паспорте изменить в духе требований времени можно; но только не место рождения, его надо точно знать. Один в усадьбе, один в избе. Бывает ведь, что не само это определяет нам и долю, и заслуги.

Кто-то с Волги, кто-то с русского Севера или из Таганрога, кто из Москвы (называю только те точки, которые указывают на “происхождение” важных для нашего разговора лиц.) Кто-то из Ленинграда или Питера, кто-то из Воронежа, с придонского хутора Кружилина, из Ясной Поляны. Кто-то “не преодолел своего дворянского”, кто-то и не думал подавлять в себе своего крестьянского “гена”.

Кому-то смертная связь с родиной напророчила и погибнуть где-то там, в жгучую крещенскую стужу. Кто-то, заброшенный царскими сатрапами из Петербурга в сибирский Вилюй, сетовал, что здесь и за версту человека, стужающего беседы, не встретишь. (Так горевал Чернышевский. А не русскому ли человеку и народу хотел служить, если “по идее”.) Кто-то не нашёл доброго, сердечного слова и для Архангельщины, оказавшись выслан туда; или кто-то обещал, что непременно вернется помирать на родимый остров — а как пришло время, то горделиво остался в какой-нибудь Венеции. (Обещая, хотел сравняться с Одиссеем, тоскующим по Итаке... А ведь под конец жизни — ему бы явно разрешили вернуться! Да ещё устроили бы такую “помпу”...)

Все, что было уклонениями, назови их “девиациями” или даже диссидентством, мы не будем здесь судить по пятибалльной системе, по прописям. Были же люди, кому с наличием малой родины — усадебной или попросту де-

ревенской — с привязанностью к ней не повезло по непреодолимым обстоятельствам.

А сложись иначе, не было бы множества случайных и ни в чём толком себя не укоренивших пристанищ. Обделила судьба чем-то, что так важно для самосознания простого и оседлого человека. Не это ли значила война?

Однако тем даже яснее: что-то большое — оно, наоборот, приблизилось, связало с особой ещё крепостью и частные жизненные пути, и разные поколения. Наш реванш — в том, что нам заново, дыша и болью и общим теплом, открылась огромность Родины.

Не будь войны 1941–1945 годов, кто-то при малой родине и дольше задержался бы. А что: где родился, там и пригодился. Не будь войны, оказалось бы меньше скитаний и сиротств. И не будь Великой Отечественной — не укрепились бы так, как это произошло с нами, сыновнее чувство ко всему русскому сразу. Во множестве своих уголков оно столько чужих людей кормило хлебом, столько давало кров, звало и принимало на огонёк.

### *Сиротский смысл семейных фотографий —*

слова Рубцова говорят отчасти и о порушенных семьях, и о вдовьей тоске. Но “Русский огонёк” — он и об этом огромном, об этом только в России по-настоящему понятном: о родном для каждого русского, который заброшен судьбой далеко. Частные же такие судьбы только подтверждают то, что прочно закреплено не в последнюю очередь литературой.

В советское время ей не удалось и не поддались облик и мир городского, заводского трудящегося люда. Не явлено, уже по особым причинам, художественно убеждающих, высоких образов из мира другого — из детей коминтерновского начальства. Деятели подземелья и всё производное от них — арбатские мальчишки, школяры и т. п.; литература не совладала и с убедительным, внятным для всех развенчанием их. “Потерянное поколение”? Жалко-нелепый студент, выходец с Дона и погибший где-то на германском фронте, оставлен Шолоховым в дооктябрьских временах. Беспочвенная интеллигентная бесовщина гораздо более поздних лет — она в жизни была, но в книгах ещё ждёт своего Достоевского. Нелишне было бы запечатлеть её: те, давние ещё шабашники только хотели что-то у нас разрушить, а этим — дело вполне удалось; тоже тематика.

Однако то, что мы назвали нашим огромным, кое в чём главным разобралось раз навсегда. Что литература увековечила — так это народ; война-землепашца.

Иван Африканович, старуха Анна, Григорий Мелехов и Андрей Соколов. Измученный бывший десантник — “покойный на постеле” или ворочающийся в бреду. Его жена и его дети; его дело, заботы и особенно заветы. Спасительный для заблудившегося, измаявшегося и одинокого путника русский огонёк в простой избе. Соль земли, хлеб искусства.

За битого же — двух небитых дают. Миллионы семей потерпели поражение. Тысячи Хатыней погребены навсегда. Страна — победила; и заставила по-особому почувствовать и оценить спасительную огромность большой Родины.

\* \* \*

В июне 2011 года — семьдесят лет скорбной дате 22 июня. Все ли силы у нас дошли до того дня — из тех, что могла поставить литература?

В этом же июне 75-летие уходу от нас Горького. В памяти друг с другом способно соотноситься даже то, что вроде бы несопоставимо, а так ли здесь?

Мы потеряли Горького, когда уже делались первые книги в славном московском Институте мировой литературы, когда уже тянулись первые слушатели в задуманный Горьким Вечерний литературный университет (с 1946-го он носит имя наставника-основателя). Это были годы, которые многие и поныне клянут — годы, когда страна, как могла, собирала и наращивала то, без чего “нас сомнут”.

Горький и Россия, Горький и война — вопросы важности серьёзнейшей.

\* \* \*

Максим Горький — вблизи такого огромного явления, как наша Родина, пускай и ходил своими путями по Руси как-то вокруг да около. Её он и представил в огромности просторов, в разгуле удалом русского человека, в его сердечной тоске. Горький видел, находил, заставал этого человека по таким углам жизни, куда никто из бывлых русских писателей и не заглядывал. Он и этим вызвал в мире увлечение Россией, влечение к ней (нередко увлечение какое-то стороннее; что-то в таких симпатиях напоминает и “гордый взор иноплеменный”).

И вот спросить писателя перед кончиной 1936 года: осознает ли он те свои вокруг да около и понимает ли, что Чехов держался истины **“хорошего было больше”** и твёрже, и всегда?

Тут можно держаться и истины народной: **не по хорошú мил, а пó милу хорош**. Без неё и полноценного чувства Родины нету. Что-то в чеховской любви к родному пепелищу держится и на этом.

Доказать нельзя, но предположить можно. Если Горький и без оглядки на Чехова размышлял о том, что, бывало, говаривал и думал про Россию он сам, это могло и усугублять невеселость конца. А об этой невеселости, что складывалась из самых разных обстоятельств, как опять же не догадываться. Что сюда прибавляет миф о том, будто какие-то большевики-врачи, или ещё кто из “медперсонала”, били престарелого классика головой о батарею отопления? (Я читал об этом лет тридцать назад в одной американской книге на темы русистики.)

И об одном ещё можно пожалеть, хотя и не без доли гадательности. **Горький не дожил пяти лет до 1941 года**. Голову на отсечение: услышала бы Россия такого публициста-патриота, который оказался б не слабее Ильи Эренбурга. Может быть, впервые Горький — и именно он — обнаружил бы в этой области и на этой стезе абсолютный художественный слух. Скольких это и поддержало бы и спасло. Надо было бы встать словом, встать грудью за народ воинов и земледельцев. Важно знать и характер писателя, и мощь великих обстоятельств. Руководство поняло бы писателя, отечески бы помогло; он и сам своё родство, наконец, всецело вспомнил бы — даже такое, какое и не снилось иному руководству: оно-то само далеко не всегда было русским.

В чем-то Горькому пришлось бы наступать на горло собственным песням; на войне как на войне. А сколько бы в Горьком ещё не высказанного заговорило бы!

**Цель оправдывает жертвы.** Война это столько заставила понять — понять в России и тех кровавых лет, и лет предшествовавших. Горький жертвы часто и не оправдывал, и со многим неоправданным (как ему казалось) он же житейски-поведенчески, ибо плетью обух не перешибёшь, мирился, хотя в душе бывал растерян и скорбел.

Мы печалимся, что до великого протрезвляющего и спасительного испытания писатель не дожил. При затянувшемся поголовном торжестве буревестников (как мы их теперь-то уж знаем) стране в этом испытании было бы ещё труднее.

\* \* \*

Чайки и буревестники. **“Некоторую загадку”** (а сказано такое было Достоевским о Пушкине) — некоторую подлежащую разгадыванию загадку унёс с собою в гроб и Горький.

Мы и в существовании самого классического слова вообще, то есть не только в личных или гражданских судьбах писателей, подчеркнули бы это. Писатель как индивид — он вне своего глагола, он

*среди детей ничтожных мира*

может быть и самым ничтожным, и совершенно даже и не загадочным, а может и остаться нам незнакомым.

Искусство же таинственно-точно по-особенному. Оно точно ставит среди прочего (вспомним письмо Чехова к Суворину) — и не то что пока неразрешенные, а просто **неразрешимые вопросы**.

Чехов не без усмешки, очевидно, добавлял: а “разрешать” – это пусть делает критика, пусть делает читатель. Хотя принять джентельменски любезное приглашение и для критиков, и для читателей – угроза сильно оконфузиться.

Как – действительно – разрешить поставленные классикой вопросы о суетности или пошлости, о глупости или самодовольстве? Разрешимы ли вопросы Онегина и Татьяны, чеховского Гурова и его дамы с собачкой? Одно ясно: их “постановка” не потакает блуду, оно приносит в душу задумчивый и грустный свет. А где решение? Доктор Чехов умнее Базарова – для того всё есть обмен веществ или рефлексы: или надо их умело подрегулировать, или им отказать, и вопрос разрешён.

Пусть же множество точных наук есть неустанное и героичное порою разрешение вопросов, на которые универсально верный ответ может быть рано или поздно найден. (Так, по крайней мере, считают сами точные науки.) Но в жизни и в подлинном искусстве мы имеем дело с другим.

Проживая эту жизнь всерьёз, мы одновременно видим, что главные вопросы неразрешимы; и они же не становятся от этого ни заумны, ни абсурдны, ни пусты и надуманны. “Неразрешимость вопросов” в ком-то породит расслабленность, апатию или, не без гордыни порою, фатализм (да, я Обломов, я пускай лежебока, однако не глупее вас – а вы, пожалуйста, суетитесь себе сколько угодно). А если по Чехову, то только неразрешимые-то вопросы и надо пытаться разрешать. И что это **надо делать**, нам напоминают и трудолюбие Чехова, и его стойкость, и его коренная “мужицкая”, как он признавал, народность, и лучи высокого света, которые пронизывают откуда-то выше как его собственный художественный мир, так и дела любого простого и незамощного трудового человека.

\* \* \*

Ещё несколько слов насчет “смеется и рыдает”, а также насчет “море смеялось” или “все дремлет, но дремлет напряженно-чутко” и вот-вот, только этого и ждешь, разрешится в “гармонию сладких звуков”. Чехов, недолюбливавший подобные словеса, крепко держался чистоты качества.

Вспомним на минуту его сцену из путешествия на Сахалин. Женщина замешивает в тесто лучи солнца; содействуют друг другу почва, мать-земля, трудовые руки и высокий свет.

Горький славился своей начитанностью, поглощал все от Гомера и Платона. (“Культуры мы от него не ждали”, – писал Блок – и Горький, наверно, чувствовал это не без обиды и не без намерения и здесь рано или поздно, а с таким высоколобием расчесться.) Неужели он читал и чеховские очерки “Из Сибири”? Собственно, почему сомневаться. Странен только отзвук: именно в конце восхищенного рассказа о знакомстве с Чеховым Горький говорит неожиданное.

**“Мы все голодны любовью к человеку; а при голоде и плохо пропеченный хлеб сладко питает”\***. Житейски, может быть, и так: Горький наверняка знал такое по юности, по булочной Семёнова. Помните “Двадцать шесть и одна”?

Предлагать голодному непропеченный, вязнувший в зубах хлеб, если только речь об искусстве слова (“смеется и рыдает”, “море смеялось”) – это оставлять человека обмороченным и недокормленным. И зачем здесь спешку хлебопёка списывать на “критические обстоятельства”, на какие-то особо “крутые маршруты”?

Тут, мол, не до качества; тут, мол, неким “нам всем” было не до качества. Если это об искусстве, то Чехов ни при чём. Связывать с Чеховым, хоть как-то, непропеченность искусства для голодных и рабов, оправдывать её чеховским контекстом у изготовителя “Песни о буревице” едва ли были основания.

Если это и сегодня поучительно, то давняя классика присматривает за нами не впусую.

---

\* Розанов В. Сахарна. М. 1998, с. 31.